

Судьба моя – песня

Про книгу

Це книга-спогад чудової співачки, виконавиці народних пісень різних країн світу мовою оригіналів, Тамари Аветісян. Багато відомих культурних і громадських діячів, зустрічі з якими описані в книзі, постають перед нами з невідомого, а інколи й з несподіваного боку. Підкупає мудрість суджень про людей, про життя та творчість і велика людяність автора. Життєвий шлях Тамари Аветісян охоплює цілу епоху, і завдяки її щирості та тонкій спостережливості читання цієї книги стане захоплюючим для читача будь-якого покоління.

Тамара Аветисян



СУДЬБА МОЯ -

ПЕСНЯ

Тамара Аветисян

*Судьба моя –
песня*



Киев
«НАИРИ»
2007

УДК 821.161.1 (477)-94
ББК 84.4 УКР=РОС 6-44
А19

В книге использованы фотографии из личного архива
Тамары Аветисян

Дизайн *Виталины Масловой*

Аветисян Т.

А19 Судьба моя — песня. — К.: Изд-во
«НАИРИ», 2007. — 384 с.
ISBN 978-966-8838-12-5

Это книга-воспоминание замечательной певицы, исполнительницы народных песен разных стран мира на языке оригинала Тамары Аветисян. Многие известные культурные и общественные деятели, встречи с которыми описаны в книге, предстают перед нами с неизвестной, а подчас и неожиданной стороны. Подкупает мудрость суждений о людях, о жизни и творчестве и просто большое человеческое обаяние автора. Жизненный путь Тамары Аветисян охватывает собой целую эпоху, и, благодаря ее искренности и тонкой наблюдательности, чтение этой книги станет захватывающим для читателя любого поколения.

ББК 84.4 УКР=РОС 6-44

ISBN 978-966-8838-12-5

© Тамара Аветисян, 2007
© «НАИРИ», 2007

Содержание

Об авторе и ее книге	6
Глава первая. Детство	9
Глава вторая. Смутное время	25
Глава третья. Воинствующий атеизм	39
Глава четвертая. Исаак Эльгорт	55
Глава пятая. Война. Москва	67
Глава шестая. Феноменальный ансамбль Моисеева .	87
Глава седьмая. Вениамин Зускин. Сиди Таль	95
Глава восьмая. Эль-Регистан	107
Глава девятая. О приличиях и стыде	117
Глава десятая. Конкурс эстрады	123
Глава одиннадцатая. Эстрада. Эстрада. Эстрада... .	135
Глава двенадцатая. Любимцы публики	165
Глава тринадцатая. Любимая Грузия	195
Глава четырнадцатая. Песенный марафон	217
Глава пятнадцатая. Прегрешения	239
Глава шестнадцатая. Финал. Самодеятельность . . .	251
Глава семнадцатая. Первая статья	267
Глава восемнадцатая. Голубой оттенок	273
Глава девятнадцатая. Реквием по эстраде	281
Глава двадцатая. Комфортность	303
Глава двадцать первая.	
Немного о доброте и слегка о званиях	313
...И вновь недоумение	325
Статьи разных лет	329
Послесловие.	
Несколько штрихов к портрету артистки Тамары	
Аветисян	380

Об авторе и ее книге

«Я просто люблю людей...»

Т. Аветисян

Интересную книгу может написать человек, который прожил большую, содержательную жизнь. Именно такая жизнь у моего большого друга Тамары Аветисян. Мне бы очень хотелось, дорогой читатель, чтобы Вы, читая эту книгу, знали, какую ответственность и волнение переживала Тамара Константиновна при принятии решения написать ее. Это связано с тем, что она принадлежит к редкой категории людей, о которых наш гениальный соотечественник В. Сароян писал: «Кто пишет книгу, тот выставляет себя на обозрение миру... Поэтому велика ответственность и волнение автора».

Рождение книги происходило на моих глазах и глазах наших с Тамарой Константиновной близких друзей. Чем ближе я знакомилась с материалами и рассказами автора, из которых рождались главы будущей книги, тем тверже убеждалась в том, что время человеческой жизни должно измеряться величиной ее нравственности... На всех этапах большой творческой жизни, во всех сложных ситуациях Тамара Аветисян оставалась верна этим высоким принципам. На это указывают факты, события из жизни автора, с объективным, откровенным и чистосердечным описанием которых Вы встретитесь на страницах ее книги.

Известно, что «тот, кто выставляет свое достоинство, роняет его...». Этой древней истиной руководствовалась Тамара Константиновна всю свою жизнь и особенно в период написания книги, стараясь не переносить «центр тяжести» описания на свою личность, а объективно, точно и корректно — глазами современницы рассказать о событиях и людях целой эпохи — начиная с ее рождения, детских и юношеских лет до наших дней.

Тамара Аветисян прожила долгую и сложную, но интересную и счастливую жизнь. Она современница очень многих людей из мира музыки, литературы, живописи, поэзии, кино, театра, политики и т.д. Стены ее гостеприимного дома помнят образы и голоса многих народных и заслуженных деятелей культуры и искусства: Зои Гайдай, Ларисы Руденко, Федора Паторжинского, Людмилы Зыкиной, Роберта Стуруа, Гии Канчели, Александра Корнейчука, Николая Гринько, Сергея Гегечкори (сына Лаврентия Бери), де Сере-

вила (Франция), Бориса Сичкина и других. Многие из них завершили свою земную жизнь, а другие находятся далеко за пределами Украины, либо живут под родным киевским небом, наслаждаясь реальной возможностью общения с Тamarой Константиновной. И сегодня двери дома Тамары Аветисян всегда открыты для друзей, коллег и знакомых. На вопрос «Не устаете ли Вы от частого приема гостей и общения с ними?» она отвечает: «Я просто люблю людей и не могу без них жить».

Известно, что судьба позволяет взглянуть на себя со стороны только тому, кто до конца выполнил свой творческий долг. Тамару Аветисян можно отнести к числу таких счастливых людей, если иметь в виду ее профессиональную сценическую деятельность как певицы, исполнительницы песен и танцев народов мира и СССР. Но есть и другая истина, которая гласит: «У творчества есть начало, но нет конца». Действительно для Тамары Константиновны творчество не закончилось с наступлением паспортного возраста, который принято считать временем заслуженного отдыха. Она продолжает творить до сегодняшнего дня, сменив сценическую деятельность на журналистскую. На протяжении последних десятилетий ее статьи публиковались во многих центральных журналах и газетах, на своем восьмидесятипятилетнем юбилее Тамара Константиновна презентовала свою первую книгу «Незабываемые», которая пользуется большим успехом и популярностью. Не сомневаюсь, что и эта книга «обречена» на успех у читателей и поклонников творчества Тамары Аветисян.

Для каждого человека приходит время, когда обстоятельства требуют ответа на вопросы: «кто ты и зачем ты здесь?; знаешь ли ты, что предстоит совершить, и сделал ли ты все, что мог?». Анализируя этапы жизненного пути и творчества Тамары Константиновны Аветисян, приходишь к выводу, что она имеет полное право ответить на эти вопросы утвердительно. Кроме того, становится ясно, что никакие лекарства не помогут праздному уму в достойном продлении жизни, а гимнастика мозга, как и гимнастика тела, — первое условие счастливого долголетия. Если при этом учесть еще набор прекрасных карабахских генов, подаренных ей родителями, можно с уверенностью заключить, что творческой жизни Тамары Аветисян действительно не должно быть конца... Рождение книги «Моя судьба — песня» — яркое тому доказательство.

Л. Мхитарян

*Моему доброму гению,
Лауре Сократовне Мхитарян,
по настоянию которой я отважилась
на жизнеописание,
в знак признательности
посвящаю.*

Тамара Аветисян

Глава первая



Детство

ГОРЬКАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
1918

Общепринятым признакам, определяющим благопристойность существования человека, — родить ребенка, посадить дерево, написать книгу — я не очень соответствую. Ребенка не родила. Дерево, маленькая елочка, посаженная на могиле отца и буйно разросшаяся, срублена под корень. Единственный шанс хоть как-то спасти свою благопристойность — написать книгу.

Выпущенная к моему восьмидесятипятилетию в свет книжечка «Незабываемые», в которой речь идет о выдающихся деятелях культуры и друзьях, не в счет по той причине, что она была сделана без моего прямого участия и в ней собраны мои статьи, появлявшиеся в прессе.

Писать мемуары, которые в артистическом мире не пишут только отпетые лентяи либо находящиеся в состоянии глубокого беспамятства, как-то неловко.

Звездные персоны описывают в них большей частью не терпящие публичного откровения интимности личной жизни, интриги и склоки закулисья, ухищряясь при этом сохранить собственную неуязвимость.

В моей долгой жизни нет умопомрачительных сенсаций, и мои воспоминания могут быть оправданы моей благополучной памятью, сохранившей все перипетии и повороты истории государства, где я родилась и прожила свои годы, да события и эпизоды, имевшие место в моей личной и творческой жизни, послужившие мне школой и воспитавшие меня.

Новое поколение живет уже в другой стране, по другим законам, со своей шкалой ценностей, в которой

начисто исчезли некоторые свойства, украшавшие человеческую натуру, присущие ей.

В нашем недавнем прошлом наряду с негативными явлениями существовало много позитивного, как и в новой жизни в другой стране, где мы все оказались по старому адресу, никуда не эмигрировав, где рядом с некоторыми плюсами сосуществуют и непереваримые особенности.

Я родилась в Революцию в Ташкенте в Армянском тупике — маленьком армянском оазисе на узбекской земле, и этот адрес будет присутствовать в моем сознании постоянно, даже на Украине, где прошла моя творческая жизнь и зрелая пора.

Армянский тупик населяли армяне, бежавшие в 1915 году из Нагорного Карабаха от турецкой резни. Их не называли ни беженцами, ни эмигрантами — бедный ремесленный люд, преимущественно плотники, как и мой отец. Армяне жили своей жизнью, соорудив турны — печи для выпечки хлеба, и женщины, сидя на корточках, ловко сажали лаваш на раскаленные стенки. Мужчины делали вино из легендарного узбекского винограда, и соседский мальчик Амаяк, точно как в картине Сергея Параджанова «Цвет граната», тщательно вымытыми ногами давил виноград в больших бочках.

Вскоре мы переехали на Мирабадскую улицу, где не было армянского окружения, где проживали украинцы, евреи, греки, мордвины, обедневшая грузинская княжна, пожилая, с царственной осанкой, бедствующая дворянская семья Обруцких и самый аристократичный, в чесучевой паре и соломенном канотье, с тростью в руке, красивый и приветливый доктор Горенштейн, любезно раскланивавшийся со всеми, всегда ласково подтрунивавший над моей плаксивостью.

В годы моего детства Ташкент четко делился на Старый город и Новый. Все узбекское население проживало в Старом — в глинобитных туземных домиках. С узбеками европейская часть населения центра города в основном общалась на базарах. Узбеки продавали овощи, фрукты, кислое молоко, потрясающие сливки и цветы — яркие букеты из непритязательных цветов с душистыми кустиками мяты и рейхана, что придавало им очаровательный национальный колорит, хотя и мята, и рейхан — базилик, по-украински «васильки», произрастают и на Украине. К нам во двор заходили узбеки — продавали лакомства: большие белые шары из хлопьев кукурузы, склеенных патокой, сладкую мешалду — вроде крема из взбитых белков, а один постоянно громко рекламировал свой товар на всю улицу — «Черный корова, белый молоко», вместо «шестнадцать» произносил «шивырнацать», оставив это выражение у нас в быту на долгие годы.

Подружусь с узбеками позже, когда познакомлюсь ближе с их культурой, бытом, обычаями, и симпатии наши будут взаимными.

Детство мое протекало в Ташкенте на Мирабадской улице в густонаселенном интернациональном дворе. Его обитатели не отличались образованностью и были людьми среднего достатка. Все квартиры выходили во двор, и жизнь каждого была на виду, все все обо всех знали. Правила поведения и признаки нравственности очень отличались от нынешних, и в цене было общественное мнение. Не уронить своего достоинства в глазах окружающих было установившейся нормой жизни.

Жили в бедности, без элементарных удобств. Электричество и водопровод во дворе появятся позже.

Дети многодетного семейства Клименко, выходцев из-под Полтавы, продавали воду на Госпитальном база-

ре. С чайником и стаканом они предлагали воду, деньги складывая в перекинутые через плечо мешочки, сшитые матерью. Это у них я впервые увидела висящую на стенке олеографию с изображением украинского пейзажа — хаты под стрихой, читала Кобзаря в русском переводе и в перекрестье крестика, через отверстие в булавочную головку, увидела панораму Киево-Печерской лавры. Тогда даже не мыслила, что когда-нибудь окажусь на Украине, увижу все своими глазами. При всей нашей бедности я отличалась от соседских детей начитанностью и развитием. Мама жертвенно относилась ко мне, отказывая себе во всем. Обеспечивала меня питанием, пристойно одевала, покупала мне игрушки. У меня была детская библиотека — «Золотая библиотека» из восьми книг, сказки Андерсена, братьев Гримм, сочинения В. Гюго, М. Твена, В. Скотта. Мама водила меня на концерты знаменитых тогда пианистов — Льва Оборина, Григория Гинзбурга, в оперный театр, на балеты. Меня потрясло высокое мастерство музыкантов, виртуозная техника, бравурные пассажи, не менее пленяли балерины. На пуантах, в очаровательных балетных пачках, — я считала их обожествленными существами, завидовала и страдала от своего несовершенства. Потом я буду брать уроки у частного педагога по фортепиано, одолею нотную грамоту и буду очень чваниться большой черной папкой на черных шнуточках, в которой носила ноты. Я была преисполнена гордостью от того, что приобщалась к миру музыки, а нотная папка с изображением лиры была тому подтверждением для окружающих, обнаруживая мое честолюбие.

Отдельные события, проступки, впечатления детских лет остались в памяти яркими, неблекнущими, а горечь от прегрешений не исчезает ни со временем, ни

с покаянием. Ощущения стыда, неловкости как защитная функция нашего организма будут формировать мое сознание, станут вечной школой моей жизни...

Мое первое унижение я остро пережила в раннем детстве.

На нашей улице в маленьком собственном домике без соседей проживала довольно благополучная на общем фоне семья Позмоговых. Отец, часовых дел мастер, проходил мимо нашего двора аккуратно одетый, с кожаным баульчиком, мать — домохозяйка, блондинка с узлом волос, заколотым шпильками, — была неулыбчивой. Жили они довольно замкнуто, но с детьми — моей ровесницей Лялей и Толиком, на пару лет младше меня, — мы дружили, менялись книжками. Как-то я дала Ляле почитать сказки Андерсена в дешевом издании в мягкой обложке, она мне — роскошное дореволюционное издание сказок братьев Grimm в твердом переплете с яркими иллюстрациями. Спустя некоторое время во двор стремительно вбежала разгневанная мамаша Позмоговых, швырнула мою книжку, забрала свою и на весь двор заявила, что такие бесстыдные книжки читают только испорченные дети и чтоб я не смела играть с ее детьми. Я испытала ни с чем не сравнимое унижение. Даже повзрослев, мы с детьми Позмоговых при встрече отворачивались друг от друга.

Честно говоря, я подспудно своим детским умом понимала гнев обидчицы: и мне не по душе была андерсеновская легкомысленная принцесса, согласившаяся взамен понравившегося ей горшка, вылепленного пастухом, дать ему себя поцеловать под прикрытием юбок своих фрейлин, — было стыдно за нее и за фрейлин, да и корыстолюбивый пастух меня не восхищал. Но то, что меня прилюдно унизили, я переживала очень остро и болезненно.

Эта детская история имела продолжение спустя много лет, в другом месте. Уже после войны я, солистка Киевской филармонии, выступала на концерте в онкологическом институте на ул. Толстого и вдруг увидела Толю Позмогова. Мы не подали вида, что знаем друг друга. «Наверное, помнит мое порочное детство», — подумала я. У нас оказались общие знакомые, и мы сталкивались на каких-то событиях, но по-прежнему чуждались друг друга. В какой-то момент, спустя семь десятков лет после описываемых событий, я решила нарушить табу и позвонила Толе. Он был несказанно обрадован, пояснил, что стеснялся подойти — «ты была знаменитой артисткой, мне было неловко». Явился ко мне с букетом цветов, мы подружились, он присутствовал на моем юбилее в Киевской филармонии. Вскоре его не стало, и осталась горечь от утраченных лет, не согретых теплом детства. Доктор наук, профессор, возглавлявший онкологическую клинику, Толя Позмогов был безупречно порядочным, феноменально скромным человеком — так говорили о нем его коллеги и ученики на поминальном обеде. Может быть, была права его мама, оберегавшая детей от двусмыслиц андерсеновского сюжета? Кто знает?..

Мое сознание формировали отдельные события детства, справедливость суждения о них окружающих и мои личные ощущения. Особенно яркие останутся в памяти и не поблекнут — ни радостные минуты от добросердечия людей, ни моменты неловкости за собственные оплошности и стыда за прегрешения. Укоры совести — наши университеты, не подвластные времени, не искупаемые ни поступками, ни покаяниями.

В нашем дворе самой уважаемой персоной был овдовевший фельдшер, носивший чесучовый костюм, шляпу, пенсне и ходивший на работу со староре-

жимным врачом-чемоданчиком. Он отличался от прочих соседей, малообразованных. Он остался с осиротевшим сыном Шуриком, моим ровесником, к которому относился по-отцовски до той поры, пока не привел новую жену. И все было нормально — до рождения ребенка. С этого времени мачеха лютой ненавистью возненавидела пасынка, а отец, в угоду жене, избивал Шурика без всякого повода. Это были настоящие экзекуции: отец срезал ветку вербы и, положив между ног Шурика, порол его. Я в слезах убежала домой, а папа, работавший во дворе на столярном станке, прожевывал во рту какие-то невнятные ругательства. В один из таких приступов бешенства фельдшера мой отец снял с себя рабочий фартук и стремительно куда-то ушел. В те времена существовала организация по защите детей — деткомиссия. Папа сделал заявление об издевательствах над Шуриком. Фельдшера судили, Шурика определили в детдом, а семья с позором съехала со двора — им уже невыносимо было проживать в нашем дворе. Шурик приходил к нам — мы его очень любили. Както, идя к Ляле Позмоговой на день рождения, он зашел к нам. Мама угостила его свежими пирогами, приласкала, и он не захотел уходить от нас. Он нес Ляле в подарок книгу Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан», с дарственной надписью. Перечеркнув «Ляле» и написав «Тамаре», он передарил ее мне. Прошли годы, Шурика не стало. Мне дорога была книга, подаренная им, но уезжая из Ташкента, я с ней рассталась. Тот факт, что мой отец, единственный из соседей, заступился за Шурика, возвысил его в моих глазах. Я гордилась отцом. Хотелось подражать ему.

Мама определила меня в лучшую ташкентскую школу — имени Ленина, бывшую гимназию имени Чехова, с просторными классами, залом со сценой, боль-

шим двором с флигелем, где с давних дореволюционных времен проживал бывший владелец гимназии, назначенный директором школы, Лоншаков — безупречно одетый, в пенсне, с брезгливым выражением лица. Он отличался чрезвычайной строгостью. Большинство педагогов — бывшие учителя гимназии — привнесли в советскую школу привычную им атмосферу строгой дисциплины, требовательности, высокой нравственности. Вскоре в школьном флигеле Лоншаков покончит с собой. Покончит с собой и новый директор, красивый, статный, вызывавший у нас уважение и симпатию, Шахлевич...

В годы моей юности в чести были целомудрие и скромность. Воздержание до брака было нормой, и мы были недотрогами — мои одноклассницы, подруги, знакомые. Возможно, это неосознанное следование библейским заповедям, хотя религия тогда претерпевала гонения, а может, в нас присутствовало понятие стыда. Случавшиеся грехопадения носили печать позора, осуждались обществом. Мама оберегала меня от общения с детьми из семей с «сомнительной репутацией». Неблагополучными считались распавшиеся семьи: разводы были редки и осуждались так же, как и семьи «растратчиков», за которыми числились экономические нарушения, преследуемые законом. И хотя сегодня все это относится к категории наивности, я благодарна судьбе за то, что появилась на свет именно в те времена, когда уклад жизни не предусматривал непомерную свободу нравов и безграничную распущенность.

Чрезвычайным событием в нашей школе, потрясшим город и докатившимся до Москвы, было самоубийство 14-летней ученицы четвертого класса, красивой, с развитыми формами и слабой успеваемостью,

Ани Асриян. Приезжий учитель физкультуры Бондаренко снял угол в семье Асриян и соблазнил Аню. Забеременев и не пережив позора, она отравилась сулемой и мучительно умирала. Учащиеся были в шоке, бегали в больницу. Хоронили всей школой, оплакивали. Суд над Бондаренко длился две недели; он был осужден на 10 лет, было снято с работы все руководство спортом города, уволен классный руководитель, получил взыскание директор школы — все с одобрения Москвы. Газеты подробно описывали процесс — он был показательным, а моя фамилия впервые появилась на страницах газет: в ходе следствия упоминался факт моего отказа от пятерки, которую мне поставил Бондаренко. Способностями к спорту я не отличалась, отметка вызывала недоумение у моих одноклассников, и было стыдно за незаслуженную отметку, о чем я и сказала прилюдно Бондаренко.

В младших классах я преуспевала, но когда перешла в шестой, в школах стали внедрять новую методику обучения под названием «Дальтонплан». Метод, приемлемый скорее для взрослых студентов, очень скоро себя изжил, но успел покалечить многих. Смысл системы заключался в том, что не предусматривал привычных уроков с введением в тему, диктантами, вызовами к доске, решением задач. В начале обучения педагог в течение двух академических часов кратко излагал суть предмета. Это называлось «конференцией». Остальное время ученикам предоставлялось самостоятельно грызть гранит науки. Было свободное хождение по кабинетам — так назывались классы, отведенные отдельным дисциплинам. Появившиеся алгебра и геометрия без участия педагога были для меня непреодолимыми. «А плюс В» были вне моего сознания, и суть этих обозначений моя фантазия мне не раскрывала.

Случилось позорное падение в моей жизни — меня не перевели в 7 класс. Я трудно перенесла разлуку с дорогими мне одноклассниками, а сознание, что я второгодница, вообще уничтожило. Я дала себе слово наверстать упущенный год.

Светлая полоса моей жизни начнется с моей верной дружбы, а потом сердечной привязанности к ученику нашей школы Исааку Эльгарту, мальчику из профессорской семьи, отличнику, «подтянувшему» меня по трудным предметам, открывшему все очарование математических закономерностей и разделов физики. Все свободное время мы проводили в библиотеке ташкентского Дома ученых, и я так преуспела в своих познаниях, что решила поступать в вуз после 8 класса. Прослушав летом трехмесячный курс подготовки в вуз, я подала документы в Политехнический институт на архитектурный факультет — считалось, что у меня есть склонность к рисованию. Я была уверена, что выдержу первый экзамен — рисунок. Гипсовую голову римского императора я красиво отретушировала, совершенно исказив ее пропорции, и рисунок был забракован, а я не допущена к экзаменам.

Я хотела, чтоб меня перевели из восьмого класса в десятый. В моей школе мне это не разрешили. Помог мне учитель пения, у которого я была главной солисткой. Он преподавал еще и в школе имени Сталина, и с его помощью я перешла туда в 10 класс, закончила и, расставшись с мечтой об архитектуре, подала документы на мелиоративный факультет Ирригационного института.

В те годы установили странную шкалу оценок знаний — «четверку» исключили. Если знания были чуть выше удовлетворительных, ставили «пятерку». Я успешно сдала вступительные экзамены, но понимала,

что будь в употреблении «четверка», она бы в моих оценках наличествовала.

Чистой случайностью стала «пятерка» по литературе. Я бы получила «двойку», если б не спасительный якорь для меня — вопрос, рассчитанный даже на неуча: «Какое литературное произведение мне нравится и почему?». Дело в том, что в вопросах по литературе фигурировали произведения советских писателей — Панферова, Гладкова, Фадеева и др. Они входили в программу девятого класса, в котором я не обучалась. Я избрала стихотворение Маяковского «На смерть Есенину», детально разобрала его и получила «пятерку». Я была отмечена в газете как отличница среди абитуриентов 1936 года, а судьба моей работы по литературе имела продолжение. Как-то во время лекции в аудиторию вошла секретарша директора института и сказала, что меня срочно вызывает директор. Напуганная строгостью вызова, я ожидала неприятностей. Директор, Александр Давыдович Петросов, держа в руке рукопись и конверт, сообщил мне, что моя работа по литературе признана лучшей из всех работ абитуриентов Ташкента, и перед тем, как отправить ее в Москву, он хочет меня ознакомить с отзывом на нее ректора Среднеазиатского университета, профессора Бродского. Выслушав хвалебный отзыв, я сказала: «А Вы не могли бы найти более подходящее время и не отрывать меня от лекции?».

Я успешно занималась, как отличница красовалась на Доске почета. Сбой в академических успехах случился на курсе сопротивления материалов. Профессор Суханов, всегда подтянутый, в безупречно изысканной экипировке, блистательно артистично и увлекательно читал курс сопромата. Я сидела за первой партой, и он откровенно пристально посматривал на меня, вводя

меня в смущение. Студенты, замечая его взгляды, подтрунивали надо мной. Как-то, идя навстречу мне по коридору, он, улыбаясь, произнес: «Тамара Ханум!». Я набралась храбрости и сказала ему, что его пристальные взгляды отвлекают меня от лекций. Суханов смотрел на меня, но уже другими глазами — гневно и уничижительно. Три раза я сдавала экзамены по сопромату — он мне ставил «двойки». Это была открытая месть, все это понимали, даже в деканате был об этом разговор. Но Суханов заставил меня еще год слушать сопромат.

Потом начнется война, наш курс мобилизуют на грандиозное строительство очередного канала, а я, уже будучи студенткой Ташкентской консерватории, на стройку не поеду.

Пела я с детства и знала все песни тех лет — «Кирпичики», «Дорогой длинною», старинные и цыганские романсы. Влюбленная в непревзойденную исполнительницу песен этого жанра Тамару Церетели, во время ее гастролей в Ташкенте я с непостижимым нахальством постучалась в ее гостиничный номер, чтоб спросить, где обучают ее искусству. Я была увлечена Вертинским, меня зачаровывали воспеваемые им «золотистый плен медно-змеиных волос», «весна в повороте лица», «ресниц утомленных полет» — мне все это казалось высокой поэзией, и я восхищалась.

Непереоценимое явление советской культуры — изданная Музгизом серия «Музыка в массы». Копеечные малогабаритные ноты знакомили нас с музыкальными пьесами, вокальными произведениями классиков, известными ариями и народными песнями. Зная ноты, я учила все подряд, даже теноровые и басовые арии. Выучила песню крымских татар на русском и та-

тарском языке, в музыкальной обработке композитора Лобачева.

Наш школьный учитель пения Сергей Владимирович Васильев отличался строгостью, не терпел непослушания и шалостей. Он организовал школьный хор и группу солистов из голосистых девочек. В репертуаре были дуэты, отрывки из опер, песни. Я в списке избранных не числилась, пела в хоре и любила, сидя в зале, слушать репетиции. Как-то он репетировал с солисткой знакомую мне татарскую песню, никак не дававшуюся ей. Совершенно произвольно я ее запела, Сергей Владимирович обернулся в зал, узнав, что пела я, вызвал меня на сцену. Я сразу спела песню под аккомпанемент рояля, и на следующий день состоялось мое первое сольное выступление на школьном вечере. Оно было очень символичным — именно народные песни впоследствии станут моим профессиональным призванием.

Много лет спустя, будучи солисткой Всесоюзного концертного объединения, я разыщу композитора Лобачева, и Григорий Григорьевич по заказу концертной организации сделает мне обработки нескольких народных песен. Лобачев не снимал крымской тубетейки и был очень занятым и остроумным. Жил в композиторском доме на Миусской, в одном подъезде с композиторами братьями Покрасс. Объясняя, как к нему попасть, он сказал: «Вы не запоминайте номер квартиры, лучше запомните: Пок-раз — это не я, Пок-двас — это не я, а Пок-трис — это я!».

Это было время, когда композиторы включались в конкурс на сочинение музыки к Гимну Советского Союза, и Григорий Григорьевич преуморительно изображал на рояле звуки, доносившиеся из окон и слева, и справа, — за стенами его квартиры все сочиняли мело-

дии к Гимну. Все будет напрасно, как нам известно, автором будет композитор, который никаких усилий не приложил, — взяли музыку давно известной всем песни. А меня будет греть знакомство с Григорием Григорьевичем Лобачевым, обработавшим народную песню, с которой я впервые в жизни вышла на сцену.

Глава вторая



*Смутное
время*

Помню несвойственный Ташкенту лютой морозный день. Мама меня, закутанную, замерзшую, ведет за руку в огромной толпе людей с траурными повязками, медленно идущих по улице. Это был день похорон вождя мирового пролетариата. С именем Ленина народные массы связывали свои надежды на лучезарное будущее, свято верили в вождя, в его идею и смерть его воспринимали как вселенскую трагедию. В моем детском сознании смерть вождя, самого главного человека, была невозможной утратой.

В третьем классе мне поручили прочитать на школьном утреннике памяти Ленина балладу «О Пекине и Ли-Чане» о том, как трагично воспринял весть о смерти Ленина китайский мальчик Ли-Чан. Я читала громко, с выражением, но дойдя до кульминации —

«Вдруг слышит Ли-Чан газетчика крик,

А в крике слышит волнение:

Умер... умер...» —

и не дочитав еще «...самый большой большевик умер в России Ленин», разрыдалась и в истерике, окруженная испуганными учителями, покинула сцену. Наверное, публично никто не оплакивал «самого большого большевика» так, как я, безутешно.

Начало было убедительным. Постулат Ленина «Учиться, учиться и еще раз учиться» был не фальшивым лозунгом. Кампания «Ликбез» — ликвидация безграмотности — была удивительной по активности. Грамотных мобилизовали безвозмездно обучать неграмот-

ных и малограмотных — их было большинство. За парты сели и юные подростки и пожилые люди. И мой папа обзавелся школьными тетрадями. Появились рабфаки — рабочие факультеты, готовившие без отрыва от производства абитуриентов в высшие учебные заведения. Все бесплатно, наоборот, — студенты обеспечивались стипендиями. Какими бы черными красками не изображалось наше прошлое, я всегда вспоминаю с благодарностью данную мне возможность без всякой mzды и протекции поступить в Ташкентский ирригационный институт, в Московский автодорожный, в Ташкентскую и Московскую консерватории. Образование было доступно самым неимущим.

Потом начнутся времена испытаний: трудные годы коллективизации, раскулачивание. Будет изыматься скот, отбираться имущество, жилье. Голод охватит все регионы. Нужда будет сопутствовать нам, и всю сознательную довоенную жизнь мы проживем в бедности. Но страшнее голода окажутся годы репрессий, с 1937 года охвативших все слои общества.

Все население, даже моя бедная и безвестная семья, пребывало в состоянии жуткого, липкого страха, тревожного ожидания беды. Стоило ночью залаять дворовой собаке, — родители в поту вскакивали к окну: не за нами ли?

Исчезали люди из близкого окружения — соученики, соседи, знакомые, известные в городе личности. Каждый день приносил недобрые вести: арестован очередной то ли преступник, то ли жертва — кто мог понять происходящее?

Зловещей аббревиатурой «НКВД» пользовалось и жулье. Появившийся в Ташкенте субъект в черной шинели железнодорожника, выдававший себя за слушателя «школы НКВД при Кремле», якобы откоман-

дированный вершить чистку среди населения, представлялся родственником из Карабаха и обирал ташкентских армян. О заявлении в милицию не могло быть и речи.

Пройдет много лет, и однажды по дороге на гастроли в Воркуту я окажусь в купе с отбывшими срок в ГУЛАГе и оставшимися там на постоянное поселение, дабы не испытывать уже поломанную судьбу на Материке, как они называли ту часть России, где не бытовали лагеря. Они рассказывали подробности пережитых злоключений со дня ареста до этапа, от которых стынет кровь, о том, что дорога от Котласа до Воркуты построена на костях погибших в дороге от холода, голода, произвола и жестокости надсмотрщиков. Кто знает, может и на костях моих друзей, безвинно ликвидированных Системой...

Потом Солженицын слово в слово расскажет об этом всему миру, но услышанное от живых людей, переживших это сполна, впечатляет неопишимо. Отец народов Сталин, пользовавшийся абсолютной властью, если и вызывал в ком-то сомнение в справедливости вершимого, то не только высказать это в узком кругу, даже мысленно признаться в этом себе было страшно. Все боялись друг друга. Доносительство стало системой. Кого-то вербовали, кто-то доносил добровольно — из чувства патриотизма, кто-то — из личной мести. Невинный анекдот, неловко сказанная фраза расценивались как государственная измена.

Мы с мужем были студентами, обитали в крохотной комнатке с убогой мебелью — кроватью, диваном, столом и парой стульев. У нас был приятель Петросов, значительно старше нас, он занимал высокие должности. Признавался в нежных чувствах ко мне и моему мужу, проявлял признаки внимания, вел себя

пристойно. Как-то под вечер зашел к нам, задержался с визитом. Они с мужем мирно беседовали, пили пиво. Меня клонило ко сну, и я, извинившись, легла на кровать лицом к стене. Не успев вздремнуть, от поворота темы разговора я потеряла сон, когда гость стал высказывать мысли, которые неминуемо грозили бы расстрелом, если б кто-то подслушал. Он говорил, что Ленин никакой не вождь мирового пролетариата, что он ничтожество, маразматический сифилитик, что подлинный коммунист, революционер и интеллектуал — это Троцкий, несправедливо очерненный завистниками, что зачитывается его произведениями и может поделиться книгами. Этот фонтан красноречия не иссякал довольно долго, а я лежала буквально мертвая от страха, боясь обнаружить охвативший меня озноб. Когда гость ушел, я открыла глаза, и мой муж, в шоке от услышанного, понял, что я все слышала — о сне не могло быть и речи. Чувство тревоги и животного страха охватило нас обоих. Мы были растеряны и терялись в догадках: провокация это или чрезмерное доверие, которое пугало не менее. Какие основания у него считать нас своими единомышленниками? Решили обратиться за советом к отцу моего мужа, декану химфака университета, профессору, кандидату партии. Встревожившись, он, в свою очередь, обратился за советом к секретарю парторганизации САГУ. Через несколько дней нас вызвали в НКВД. Разведенные по разным комнатам, мы должны были все произошедшее изложить на бумаге. Так нежданно-негаданно мы стали осведомителями, не имея никакого желания и никаких склонностей. Учитывая то, что наш приятель, слава богу, не был ни уволен с работы, ни репрессирован, я до сих пор не ведаю, было ли откровенное гостя провокацией или дружеской откровенно-

стью. Когда мужа мобилизуют на фронт, Петросов появится с отнюдь не невинным намерением, с нескрываемой настойчивостью, за что будет отлучен, и я потеряю его из виду. Открытие архивов обнаружит армию людей, вовлеченных в секретное сотрудничество, — завербованных, добровольцев, жертв обстоятельств, по недоразумению.

Спустя много лет меня, солистку Киевской филармонии, пригласили в серый казенный дом на Владимирской улице. С тревогой и страхом, не ожидая ничего приятного, я явилась в условленное время. Я была очень приметной, и мой визит мог быть замечен — тогда по Владимирской ходили трамваи. Визит в КГБ не вызвал бы ко мне симпатий — не любили в народе сексотов. Молодой лысоватый человек представился, заговорил со мной о патриотизме, гражданском долге и предложил мне тайное сотрудничество. Хотя я и была патриоткой и мне отнюдь не была безразлична государственная безопасность, но роль доносителя была мне не по душе — я уже испытала «прелесть» состояния человека, пишущего доносы. Сославшись на мою популярность в городе, я сказала, что даже мой сегодняшней визит может не оказаться тайным. «Ничего, — сказал он, — мы будем встречаться на тайной квартире». Тогда я пояснила, что не могу гарантировать тайну по той причине, что мне будет невозможно скрывать от мужа эти встречи. Меня отпустили, предложив серьезно подумать. Я очень опасалась неприятных последствий моего отказа. Явных гонений не было, но, невзирая на большой успех у публики, поощрениями меня не баловали и за рубеж не выпускали.

И все же, объективности ради, я должна признаться в том, что в моей жизни был эпизод, за который я бесконечно благодарна органам внутренних дел.

Я переехала в Москву, став студенткой Института автомобильного транспорта, эвакуированного во время войны в Ташкентскую область. Это был единственный шанс оказаться в Москве и пробоваться в консерваторию.

Замдиректора по хозяйственной части института Гоциридзе, брат которого будто бы занимал высокую должность в ведомстве Берии, часто посещал общежитие на Софиевской набережной, где я проживала, проявлял ко мне назойливое внимание. Даже пианино переставил из красного уголка в нашу комнату. Как-то Гоциридзе распорядился, чтобы я явилась в институт в его кабинет. Не придав значения тому, что это был выходной день и в здании было безлюдно, я все-таки явилась в указанное время. В кабинете был полумрак — окно завешено маскировочным сукном, света хозяин не зажигал. Закрыв дверь на ключ, он не стал скрывать своих намерений. В диком страхе я стала грозить ему, что он не представляет себе серьезности последствий, — сама не представляя ясно, каких именно, — если он хоть пальцем ко мне притронется. Покуражившись и поняв, что возможен скандал, он, открыв дверь, вышел, бросив на ходу, что он сейчас вернется и чтоб я не смела уходить. Но я выскочила из кабинета, поняв, что это придуманная им форма капитуляции. Когда я в слезах пришла к Эль-Регистану и все ему рассказала, он решил тут же написать статью в «Известия». Но я боялась мести — отчисления из института, выселения из общежития — и умоляла не писать.

На второй день студент из параллельной группы, мой земляк Ашот, увидев меня, спросил, почему я так плохо выгляжу, чем расстроена. Я в слезах рассказала о своей беде, о страхе расправы. «Не волнуйся, никто

тебя не тронет», — сказал Ашот. Спустя несколько дней меня повесткой вызывали в отделение милиции на Пятницкой. Ночью я не сомкнула глаз, гадая, за какие прегрешения. В милиции дама в штатском сказала, что меня пригласила не милиция, а органы внутренних дел, что буду я говорить с полковником. Подтянутый, симпатичный в форме полковник расспрашивал о моем житье-бытье, об успехах. Я отвечала, пытаясь по его интонации определить причину вызова. Надо присовокупить, что МАДИ находился в ведении Гушосдора НКВД. В конце концов, полковник спросил меня, что за история произошла у меня с Гоциридзе. Я, расстроившись, рассказала о случившемся и, по его просьбе, изложила все на бумаге. Вскоре Гоциридзе был снят с работы. Я поняла, что Ашот защитил меня от возмездия, сообщив куда надо.

Случай сведет меня с Гоциридзе в комиссионке на Неглинной. Став уже артисткой, побывав на гастролях в Манчжурии, великолепно экипированная, я зашла в магазин и увидела поблекшего обидчика. Чтобы обратить на себя его внимание, я громко попросила продавщицу показать мне самую дорогую антикварную вазу. Повернув ко мне голову, Гоциридзе опешил от неожиданности. Неизвестно, как сложилась бы моя судьба, не будь вмешательства полковника безопасности.

Смерть Сталина переживала вся страна — скорбно и безутешно. В этот день я шла по Крещатику в филармонию, заливаясь слезами, далеко не фальшивыми. Прохожие тоже утирали слезы. Мои коллеги без стеснения оплакивали смерть гениального то ли деспота, то ли спасителя, чьей воле безропотно покорялось огромное государство и безоговорочно все его авторитетное ближайшее окружение. И все же я обошлась без партбилета. Я была образцовой пионеркой. Общитель-

ная от природы, я не пропускала сборов, на которых пели, читали стихи, рисовали, охотно выполняла поручения. Когда пришло время переходить в комсомол, мне уже не хотелось тратить время — у меня появились другие интересы. Тем более, что я поменяла школу в последний год обучения и не вошла в общественную жизнь новой школы, была чужаком, и никто меня в комсомол не тянул.

В партию, даже по настоянию администрации моей концертной организации, я не вступила. Востребованной публикой, в вечном поиске репертуара, увлеченной работой, пошивом сценических туалетов, чтением запоем литературных журналов, обязанностями по дому, мне партийные собрания казались невыносимой тратой времени, недопустимым времяпрепровождением. К тому же, ведущие артисты также не стремились в партию. За исключением небольшого количества истинно идейных коммунистов, в рядах партии преобладали либо честолюбивые карьеристы, либо артисты низкой категории, для которых партбилет был панацеей от увольнения — администрация не имела права без санкции партийных органов увольнять партийцев.

Светлой памяти кумир публики тех лет, пользовавшийся заслуженной славой, Юра Тимошенко — Тарапулька — на предложение секретаря райкома партии пополнить ее ряды спросил секретаря, где тот состоит на партийном учете. «Естественно, в ЦК партии», — ответил секретарь. «А где буду состоять на учете я?» — спросил Тарапулька. «Естественно, в парторганизации Киевской эстрады», — был ответ. «Я сегодня же вступлю в партию, если вы меня примете в свою парторганизацию», — ответил артист и с той минуты оказался в откровенной немилости, пока опалу не снял

Кінець безкоштовного уривку.
Щоби читати далі, придбайте,
будь ласка, повну версію
книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ